

Юрий Казарин



ГЛИНА

Юрий Казарин

Глина. Стихотворения

НП «Центр современной литературы»

Казарин Ю.

Глина. Стихотворения / Ю. Казарин — НП «Центр современной литературы»,

ISBN 978-5-91627-144-7

Юрий Викторович Казарин род. в 1955 г. в Екатеринбурге. Работал на Уралмашзаводе, служил на Северном флоте. Окончил филфак УрГУ. Автор нескольких книг стихотворений и научной прозы. Стихи публиковались в периодике России и зарубежом. Доктор филологических наук. Профессор УрФУ. Живет в дер. Каменке на реке Чусовой. Стихотворения в книге располагаются в хронологическом порядке.

ISBN 978-5-91627-144-7

© Казарин Ю.
© НП «Центр современной
литературы»

Содержание

«Пёрышко чьё-то прилипло к порогу...»	5
«Лицо прекрасное, лицо беды...»	6
«Не с горя, нет, не с перепугу...»	7
«Не над бочкой, а прямо над бездной...»	8
«Детское мужество, взрослые страхи...»	9
«В прошлом году, вчера...»	10
«Кто мне веки горькие поднимет...»	11
«И после смерти я умру...»	12
«Я к вам ненадолго – я в гости...»	13
«Близорукий туман, дальнозоркая тьма...»	14
«Кто-то вскрикнул: “Баба Настя!”...»	15
«Но кто-то за спиной...»	16
«То шмель пинается. То муха...»	17
«Сивый, больной, поддатый...»	18
«Прошла гроза, хорошая гроза...»	19
«Всё перед снегом пахнет солью...»	20
«Шаги, шаги, шаги, а человека нету...»	21
«Чертополоху-чуду...»	22
«Уже сентябрь. Светлеет только в семь...»	23
«На расстоянье вытянутой – здесь...»	24
«Ночью проснусь от крика...»	25
«Хочешь, осиной буду...»	26
«Летишь и видишь сквозь крыло...»	27
«Когда с фонариком рыбачишь...»	28
«Еще до слова, до начала...»	29
«Не снегопад, а призрак речи...»	30
«Кто ягнёнка белого поставил на крыльцо?..»	31
«Так полюбить белизну...»	32
«Это твоя зола...»	33
«Гора сухой воды...»	34
«Одеты в пустоту поля и перелески...»	35
«Уста в земле и привкус клятвы...»	36
«Овчина звёзд – какая ноша...»	37
«Отсверкали, отмерцали...»	38
«Усилиями зренья и погоды...»	39
7-е января	40
«У снегов растут ресницы...»	41
«Семь дырочек в древесной самокрутке...»	42
«Нет имени у глаз – они ночное небо...»	43
Конец ознакомительного фрагмента.	44

Юрий Казарин

Глина

«Пёрышко чьё-то прилипло к порогу...»

Пёрышко чьё-то прилипло к порогу —
это с большого крыла.

Сад облетевший упал на дорогу,
всё, что осталось, — метла.

Будет сподручно и ветру и Богу
осень смахнуть со стола...

Время ворует себя понемногу —
так, чтобы вечность была.

«Лицо прекрасное, лицо беды...»

Лицо прекрасное, лицо беды.
Вплывает в засуху стакан воды
на златоусте лермонтовской сабли.
Не пролилось ни капли.

Ещё во сне лицо твоё. Во сне,
который снится Лермонтову. Не
сопротивляется красавица беда.
Клинок отточенный, гранёная вода.

Клинок отточенный. Гранёная вода.

«Не с горя, нет, не с перепугу...»

1

Не с горя, нет, не с перепугу
ночь белоглазая бледна —
вдоль неба ливень гнал округу
и выпивал её до дна.
Там вечность слуху не помеха —
и влаги шум, и кровь твоя.
И выворачивалось эхо
в именованье бытия.
Когда ты шёл, не зная броду.
Когда вода упала в воду
с недвижной скоростью сверла.
Когда Елена умерла.

2

И снова Бог заплачет надо мной
я смерть свою к моей любви ревную
и высота срастётся с глубиной
в отчётливую линию прямую
и ливня повсеместная метла
густеет и растёт из водостока
и ангелу с метлою одиноко
Елена умерла.

«Не над бочкой, а прямо над бездной...»

Не над бочкой, а прямо над бездной
без беды, без любви, без труда
между небом и плёнкой небесной
белый трепет расплющит вода.
Это бабочка. Это распятыё.
Растяжение влаги. Стекло.
Это выдоха светлое платье
на холодную воду легло.
Это взгляда распах и суженье,
и сетчатки разрыв, и звезда,
упираясь в своё отраженье,
остаётся во мне навсегда.

«Детское мужество, взрослые страхи...»

Детское мужество, взрослые страхи
на голубом закипают глазу.
Выкрутишь из пропотевшей рубахи
боль неизбывную, Божью слезу.
Мутная – освобождает ресницы,
чудо вытягивая из беды,
чтобы нагнуться, прозреть и напиться
здесь, на земле, у последней воды.
Смотришь в неё с голубым полыханьем
льда или пекла из сердца земли,
будто хрусталь с потускневшим дыханьем
близко, как бездну, к глазам поднесли.

«В прошлом году, вчера...»

О. Седаковой

1

В прошлом году, вчера,
я наловил плотвы —
чистого серебра,
истой синевы —
и в чешуе персты
подлинной высоты
даже впотьмах видны
прямо из глубины.

2

Слух оторвать от звука,
зрение — от огня:
произнесёт разлука
истину сквозь меня:
ты полетай немного —
вымети облака,
чтоб доросла до Бога
лесенка мотылька.

«Кто мне веки горькие поднимет...»

Кто мне веки горькие поднимет,
разлепив разлуки мёртвый мёд...
Дождь тебя, как дерево, обнимет,
ознобит, осиной назовёт.
Мёртвый дрозд – откуда он, откуда
утром, ниже неба, на крыльце...
Сколько в нём и ужаса, и чуда.
Сколько смерти в этом мертвеце.
Всю забрал, большую, на рассвете.
И теперь в округе благодать.

У, какая горечь в сигарете,
то есть в жизни, я хотел сказать.

«И после смерти я умру...»

И после смерти я умру
ещё не раз, перелетая
от чернозёма к серебру.
И вдруг – заминка золотая,
щербинка, вмятинка. С какой
печалью тянется по свету
пространство, нежностью, тоской
и болью сжатое в планету.
Недооплаканная, ты
глядишь из всех разбитых стёкол,
которые из немоты
я прошлой кровью недотрогал.

«Я к вам ненадолго – я в гости...»

Я к вам ненадолго – я в гости,
послушать, как уточка вдоль камыша
из воздуха ржавые гвозди
вытаскивает неспеша.
А значит, я к первому небу успею,
уже начинается взгляд.

Пять ласточек, в Кассиопею
построившись, в небе стоят.

«Близорукий туман, дальноркая тьма...»

Близорукий туман, дальноркая тьма
уводили меня молодого с ума,
как с холма, мимо бездны, в долину
к винограду, влюблённому в глину,
где дарует кувшину гончарная печь
гул и клёкот толкучий над чашами – речь,
поднебесную нёбную сушу —
не звучанье, а самую душу.
Три тумана сошло с побледневшей реки,
и на глине безводной стоят рыбаки,
упираются в донное темя,
тычут вёслами в чистое время.

«Кто-то вскрикнул: “Баба Настя!”...»

В. Бабенко

Кто-то вскрикнул: «Баба Настя!» —
где-то в небе, высоко.
Сыплет смутное ненастье
вкось сухое молоко.
Вязнет солнышко на хлебе.
Дождик к горлу подошёл...

Лишь бы тот, который в небе,
бабу Настю не нашёл.

«Но кто-то за спиной...»

Но кто-то за спиной —
как женский крик ночной,
безрукий, рукопашный —
невидимый, но страшный —
не ходит, не стоит,
он явлен ниоткуда
последний смертный стыд,
преображённый в чудо.
Ну, здравствуй, тень моя
из ужаса и дыма.
Ты – имя бытия,
но ты неуловима.

«То шмель пинается. То муха...»

То шмель пинается. То муха
Гомера вытянет из тьмы.
То тишина. То гибель слуха
в грядущем шорохе зимы.

Из леса, брошенная всеми,
осина вышла. И окрест
она стоит одна, как время.
Как крест пылающий. Как крест.

«Сивый, больной, поддатый...»

Сивый, больной, поддатый,
жизни на три копейки —
вот деревенский Данте
в валенках, в телогрейке,
в думах, в своей простуде,
вечно в обнимку с твердью:
ангелы — это люди,
переболевшие смертью.

«Прошла гроза, хорошая гроза...»

Прошла гроза, хорошая гроза,
стремительно, как в радости – страданье,
переливая страшные глаза
из мироздания в мирозданье.
Могучая таинственная связь
моей земли, эфира и озона —
как будто пашня в небо поднялась,
и облака – как призрак чернозёма.
И в небесах увидишь мужика,
склонившегося над хрустальным плугом.
Сейчас он перепашет облака
и поперёк, и вдоль, и полукругом.
И станет тесно между двух зеркал:
в одном – душа, в другом – душа и тело.
В одном я к жизни новой привыкал,
в другом она цвела и зеленела.
Гроза идет, хорошая гроза,
и за руку сквозь свет ведёт рябину,
переливая синие глаза
из глины в глину.

«Всё перед снегом пахнет солью...»

Всё перед снегом пахнет солью.
Сидим, чужие, у огня:
вот небо с головною болью,
из неба пущенной в меня.

Вот, насосавшись смерти, пчёлы
почти рассыпались, как свет,
как переходные глаголы,
переходящие в предмет.

Запахло снегом и Гомером,
и деревенским Данте. Да,
и осенью, где водомером
не исцарапана вода.

«Шаги, шаги, шаги, а человека нету...»

Шаги, шаги, шаги, а человека нету.
Но чувствую, сейчас попросит сигарету.
И спички... И ещё... Ну, в общем, огонька,
чтоб от него в горсти – прозрачная рука.
И видно сквозь ладонь Вселенную в горсти —
как сердце на весу – и глаз не отвести.
Ты весь теперь глаза – и глаз не отведёшь.
Вселенная в горсти, малиновая дрожь.

«Чертополоху-чуду...»

Чертополоху-чуду
хочется только взгляда.
Бог обитает всюду,
не выходя из сада,
в общем-то, из любого,
лишь бы была рябина,
чтобы большое слово
губы твои любило,
чтобы в стихотворенье
высветилась слеза:
это, конечно, время
щиплет тебе глаза.

«Уже сентябрь. Светлеет только в семь...»

Уже сентябрь. Светлеет только в семь.
Жизнь – это сон, который снится всем,
когда в стекло оконное синица
себя саму, бессмертную, клюёт:
смерть – это жизнь, которая приснится,
но кто её, проснувшись, проживёт?..

«На расстоянье вытянутой – здесь...»

На расстоянье вытянутой – здесь —
руки, разлуки, памяти я весь
почти исчез. Так в дальнем разговоре
не слышно слов, но что-то шепчет море.
Как хорошо, что жизнь всего одна.
Большой реке в наклонном русле тесно:
отняв себя от глиняного дна,
она встаёт, как вечный дождь, отвесно
и льётся вверх, в мерцающую тьму,
навстречу возвращенью своему.

«Ночью проснусь от крика...»

Ночью проснусь от крика.
Дождик не вяжет лыка,
зеркало пьёт свечу...
Это не я кричу.
Выйду из тесной боли
в сад, где светло от воли:
влаги набравши в рот,
миром земля растёт.
Так постою немного,
может, увижу Бога —
не убоится льда
глиняная вода.

«Хочешь, осиной буду...»

Хочешь, осиной буду:
дерево отовсюду
видит тебя – оно
любит смотреть в окно
и озираться в поле,
тронув слезу с небес,
чтобы по доброй воле
не возвращаться в лес, –
птицу пошлёт на гору,
высмотрит из-за крыш,
как ты, прильнув к забору,
мертвой сосной стоишь.

«Летишь и видишь сквозь крыло...»

Летишь и видишь сквозь крыло
косой распах озёрной пашни,
где, как слеза, растёт стекло,
креня колодезные башни.

Лопатой сладкого леща,
его веслом – какая лопасть, —
как плащаница, трепеща,
хрустальная двоится пропасть,
сквозит и ширится, пока
сама в себе не отразится,
как налетающая птица
в озябшем оке рыбака.

«Когда с фонариком рыбачишь...»

Когда с фонариком рыбачишь,
ты как светило что-то значишь
и пирамиду глубины
ведёшь вершиной от волны.
В ней рыбы долгие летают,
сухое золото глотают,
текущее из фонаря
в глухие норы октября.
Твердишь: Державин, Данте, Дратва,
а на мостках сидит ондатра
и, задержав глубокий вдох,
молчит и спрашивает: Бог?
А ты фонариком посветишь
куда-то вверх – и не ответишь.
Вздохнёшь – и ангельскую дрожь
в разбитом сердце унесёшь.

«Еще до слова, до начала...»

Еще до слова, до начала,
светясь без плоти и огня,
я слышал смерть – она молчала
и проходила сквозь меня.

И ослепительные ночи,
и утомительные дни
казались вечности короче,
но были вечностью они.

Вселенной головокруженье
пытаешься остановить,
чтобы молчать после рожденья
и после смерти говорить.

«Не снегопад, а призрак речи...»

Не снегопад, а призрак речи.
Как сгусток речи – кровь во мне.

Над печью дом расправит плечи,
и хрустнет косточка в окне.

О это гибельное чудо —
речь несказанная. Оно
болит бессмертием, покуда
в глазах от белого темно.

Лети, лети, снежок последний —
как первый Божий нежный гнев,
заглядывая в мир соседний,
от неземного побледнев.

«Кто ягнёнка белого поставил на крыльцо?..»

С.

Кто ягнёнка белого поставил на крыльцо?
Ах, у снега первого Господа лицо.
По утрам у Господа детское лицо.
Он ягнёнка белого поставил на крыльцо.

«Так полюбить белизну...»

Так полюбить белизну,
небом прижатую к крышам:
белка бинтует сосну
серым и рыжим.

Долго пришлось умирать,
чтобы очнуться и выжить.
Воду в морозе стирать —
выкрутить, вытянуть, выжать
прямо в сосульки... В горсти
лёд истончается в блюде...

Просто уйти
и не вернуться.

«Это твоя зола...»

Это твоя зола
пальчиком провела —
пеплом неуловимым,
бывшим огнем и дымом, —
по кадыку, виску,
чтобы открыть тоску.

Пепел не взять в щепоть —
полуистлела плоть,
словно без тьмы и света
выдохлась сигарета:
с неба мизинчик лёг —
дерево не прожёт.

Скатерть белым-бела:
как ты во мне росла,
глину мою рвала,
как ты меня сожгла —
знает твоя зола.

«Гора сухой воды...»

Гора сухой воды.
С нее текут следы
в мерцающую бездну,
где я сейчас исчезну:
войду с дровами в дом
и опущусь у печки...

Как рыба подо льдом
в полупрозрачной речке,
я шевелюсь едва,
когда посмотришь сверху,
где звон и синева
Твоя подобна эху
зеленоватых льдин —
такая глубина.

Один. Один. Один.
Одна. Одна. Одна.

«Одеты в пустоту поля и перелески...»

Одеты в пустоту поля и перелески,
одето в небо всё, что жаждало его.
Врезается в лицо не рыболовной лески
прозрачное ничто, а взгляда вещество.
И ширится во мне мое исчезновение:
такой простор во мне, что, кажется, и нет
меня, а только есть последнее мгновенье,
явившее восторг, переходящий в свет.
Но я еще дышу, шепчу, и горечь дыма,
как слово из огня, полощется во рту,
и всё, что навсегда теперь неуловимо,
одетое в меня – одето в пустоту.

«Уста в земле и привкус клятвы...»

Уста в земле и привкус клятвы.
Прикус земли – твой рот в земле.
Подошвы губ взыскуют дратвы
и капли света на игле.
И чёрствой нитью – на живую —
земли младенческую дрожь
прошьёшь, и сказку корневую
спасёшь – да в губы не возьмёшь.

«Овчина звёзд – какая ноша...»

Овчина звёзд – какая ноша
и стужа нежная планет:
так реет снежная пороша,
когда шлифуют белый свет.

И дымный дых, и пыльный шёпот,
потрескивая и шурша,
из душ выпытывают опыт —
и плачет старшая душа.

И в тёмном веществе печали
плывёт фонарик золотой,
качая мир по вертикали
над глубиной и высотой.

Ты – боль, и ты по воле духа,
в живом усиливая дрожь,
в разрывах воздуха и слуха,
в разрывах времени – поёшь.

«Отсверкали, отмерцали...»

Отсверкали, отмерцали
зимних звёзд земные сны —
и в сугробах от печали
стало меньше белизны.

Не весна, а в небе яма —
звёздной стужи седина.
И земля восходит прямо
в бездну дерева без дна.

Востекает дятлу в темя
из древесной глубины
окольцованное время
в тёплом золоте сосны.

Времени древесный свиток —
топора сырая сыть,
где сосульки от улиток
янтаря – не отличить.

«Усилиями зренья и погоды...»

Усилиями зренья и погоды
всё в инее. Его густые всходы
пострижены пятнадцать раз на дню.
О батюшки, пронзительные светы:
вон жизнь стоит, как пепел сигареты,
сгоревшей без затяжки на корню.
Я стужу пил и потому согрелся,
и всякий Бог легко в меня смотрелся,
как в зеркало, и видел глубину —
свою, мою и всё-таки одну.
Пороши пересол сверкал вокруг,
и сумрака хрусталь был тверд и светел.
И, мертвый, я себя живого встретил —
и взял себя, живого, на испуг:
мол, жив еще, и зеркало в тебе
не вытерто до дыр и полыхает,
и юная простуда на губе,
слепая, в нем, как бабочка, порхает.
Поцеловал наш холод на земле
и вышел вон из декабря наружу
в иную бездну, в музыку и стужу...
Но бабочку оставил на стекле.

7-е января

Сугроб подшит, как валенок: травой,
малинником с последней головой
репейника, расклёванной щеглами.
Земля накрыта главными глазами:
они подъяли спящие кусты.
И в небе шевельнулся гул чердачный...
Ночной фонарик выпил дым табачный
и голубой трубой всосался в сад,
как Божий взгляд.

«У снегов растут ресницы...»

У снегов растут ресницы
до небесной полыни.
Зябнут ангелы и птицы —
дети малые мои.
На окошке косит шторку
шевеленье детворы:
вечность тянет санки в горку,
время катит их с горы.

«Семь дырочек в древесной самокрутке...»

Семь дырочек в древесной самокрутке —
семь сквозняков, берущихся в щепоть.
И воздуха верёвочку из дудки
вытягивает с музыкой Господь.

Все семь небес сквозь дудочку – всё туже.
Семь выдыхов и главный мой, восьмой,
из бездны и огня, тепла и стужи
освобождается – прямой.

И музыки начальное удушье
так натянулось, что оборвалось.
И всюду плачет дудочка пастушья,
измученная музыкой насквозь.

«Нет имени у глаз – они ночное небо...»

Нет имени у глаз – они ночное небо:
и звёзды, и сирень, и твой чертополох.
Без хлеба на столе немеет имя хлеба:
он голод по отцу, а голод – значит Бог.
И ты идешь с дождём обочь, попеременно.
Ни смерти, ни любви – сплошные зеркала.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.